

ФАН
ТОМ

Алексей Завьялов

Фантом

«Автор»

2026

Завьялов А. С.

Фантом / А. С. Завьялов — «Автор», 2026

В доме, где нельзя произносить имя, где даже мысли могут стать слышны, живёт Фантом. Он убивает, мучает, меняет реальность. Но однажды находится тот, кто решает спросить: кто ты? И ответ меняет всё. Фантом не приходит извне — он рождается из нашего страха. И если страх — это топливо, возможно, его можно направить в другую сторону? Жуткая, многослойная история о власти коллективного ужаса, о том, как тишина становится соучастием, и о том, что свобода — самая тяжёлая ноша из всех. История для тех, кто не боится заглянуть в угол.

© Завьялов А. С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

1	5
2	9
3	13
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Алексей Завьялов

Фантом

1

Мы живём в старом многоквартирном доме. Он стоит на отшибе, в стороне от новых районов, врос в землю так основательно, словно не построен был когда-то, а пророс из неё сам. Дом наш не самый счастливый. Зато — самый большой в округе. И жильцы здесь — как одна большая и странная семья.

Когда я говорю «мы живём», я имею в виду: мать, дядя Коля, бабушка Вера, тётка Рита, которая до сих пор непонятно кому приходится родственницей и ни на кого не похожа, и няня Груша. Няне Груше лет примерно столько же, сколько самому дому, и она помнит такие вещи, о которых вслух говорить нельзя.

И ещё я. Меня зовут Саша. Мне около тридцати, хотя выгляжу я старше — все мы здесь выглядим старше своих лет. У нас у всех серые лица, замедленные движения и привычка не поворачиваться на резкие звуки. Точнее, привычка делать вид, что резких звуков не было.

Дом шестизэтажный, на шесть подъездов, но жилых квартир в нём с каждым годом становится меньше. Кто-то съезжает — и про них потом говорят шёпотом, с сочувствием или со страхом, как о смертельно больных. Кто-то исчезает иначе — но об этом тоже не говорят.

Наша квартира на четвёртом этаже, в третьем подъезде. Четыре комнаты, коридор, кухня, ванная. Обои в цветочек, потемневшие по углам. Паркет скрипит, когда наступаешь на определённые половицы, и мы давно запомнили какие именно, чтобы не шуметь лишний раз.

Правила нашего дома просты, хотя никто их не записывал и не утверждал на общем собрании. Мы впитали их с молоком матери, мы выучили их раньше, чем алфавит.

Первое правило: нельзя называть. У него нет имени, и мы не даём ему имени. Даже в мыслях — потому что мысли в этом доме иногда становятся слышны.

Второе правило: нельзя обсуждать. Ни с домашними, ни с соседями, ни, упаси господи, с посторонними. Если ты вышел в город, в магазин, в поликлинику — ты обычный человек. Ты живёшь в обычном доме. У тебя ничего не происходит.

Третье правило: нельзя смотреть. Когда оно рядом, ты чувствуешь это затылком, спиной, кожей — волосы на руках поднимаются, воздух становится плотным и холодным, как кисель из холодильника. Иногда в зеркале что-то мелькает. Иногда в коридоре сгущается тень, которой не должно быть. Мы отводим глаза. Мы отворачиваемся. Мы уходим.

Четвёртое правило: не злить. Что значит «злить» — никто толком не знает. Каждый раз это разное. Иногда можно громко разговаривать, иногда нельзя издавать ни звука. Иногда можно выходить на улицу, иногда дверь не открывается, что бы ты ни делал, и тогда мы говорим друг другу: «Наверное, там дождь, не хочется мокнуть», — и остаёмся дома. Даже если кому-то нужно в больницу. Даже если кто-то умирает.

Я помню день, когда умер дед. Вернее, день, когда он должен был умереть — он умирал долго, в спальне за занавеской, а мама сидела у его постели и шептала что-то ласковое, бессмысленное, как ребёнку. Я был в коридоре. Я хотел войти туда, но в коридоре вдруг стало темно, хотя день был солнечный, и в конце коридора, возле двери в спальню, воздух сгустился во что-то плотное, похожее на силуэт. Я не видел его. Я отвёл взгляд, как учили. Но я знал — оно там. Оно стоит. Оно ждёт.

Я сказал вслух, глядя в пол: «Я сегодня, наверное, не в настроении. И погода, кажется, портится. Пойду почитаю».

И ушёл.

Дед умер через два часа. Мама потом говорила, что он звал меня. Я кивал и говорил, что очень жалею, что не зашёл. И мы оба делали вид, что верим в это.

С тех пор я стараюсь не думать о том, сколько раз мы не зашли. Не позвонили. Не приехали. Не попрощались.

Утро в нашем доме начинается с тишины. Птицы поют, лёгкий ветер или дождь за окном, падает снег, коптит жаркое солнце – на всякий случай, лучше слишком не радоваться. Утро начинается с того, что ты открываешь глаза и прислушиваешься. Какой сегодня воздух? Давит ли на грудь? Есть ли в углу комнаты сгущение темноты, которого не должно быть?

Если воздух лёгкий, а углы пустые — день будет хорошим. Можно встать, умыться, выпить чаю. Можно даже выйти на улицу.

Если же в комнате с порога чувствуется присутствие — ты остаёшься в постели. Притворяешься спящим. Ждёшь, пока уйдёт.

В то утро воздух был тяжёлым. Я лежал и смотрел в потолок, а оно сидело в углу, и я не смотрел на него. Я просто знал. Оно сидело тихо, не двигалось — просто находилось здесь, как гость, который пришёл без приглашения и не собирается уходить. Я лежал и думал о том, что мне нужно на работу. У меня не было работы — в городе нас брали неохотно, мы были «странными», от нас исходил запах этого дома, и люди чувствовали его подсознательно, как животные чувствуют больное животное. Но я подрабатывал. Иногда. Когда выходило.

В то утро не вышло. Я лежал до обеда, а когда встал — угол был пуст. Только половицы скрипнули, хотя я на них не наступал.

На кухне сидела мама. Она смотрела в окно и пила чай. Окно выходило во двор, где росли три старые липы и стояла покосившаяся скамейка. На скамейке иногда сидели соседи — те, кто ещё мог выходить. Сейчас скамейка была пуста.

— Хорошая погода, — сказала мама, не оборачиваясь.

— Да, — сказал я. — Солнечно.

За окном моросил дождь.

Мы всегда так делаем — описываем погоду, которая нам нравится, а не ту, которая есть. Это помогает. Это как заклинание. Как попытка убедить мир, что у нас всё хорошо.

— Дядя Коля вчера вернулся, — сказала мама. — Из города.

Я сел за стол, взял свою чашку. Чашка была тёплой — значит, чайник только что вскипел. Или мама знала, что я приду именно сейчас.

— Как он?

Мама пожала плечами. Дядя Коля — мамин брат — работал на заводе за пределами района. Он единственный из нас, кто имел постоянную работу в городе. Он уходил рано утром, возвращался поздно вечером, и каждый раз мы боялись, что однажды он не вернётся. Потому что оно не любит, когда мы уходим далеко. Не любит, когда мы рассказываем. Не любит, когда мы забываем правила.

— Он какой-то молчаливый, — сказала мама. — Больше обычного.

Мы помолчали. Я смотрел в свою чашку и видел на поверхности чая мелкую рябь — хотя чашку я не трогал. Рябь шла кругами, как будто кто-то дышал на чай.

Я не поднимал глаз. Я сделал глоток. Чай был горьким.

К вечеру в квартире собрались все. Бабушка Вера вышла из своей комнаты — она редко выходила, только когда могла, когда коридор был чист. Тётка Рита пришла с пятого этажа — она жила отдельно, но ужинала всегда с нами, потому что одной ей было страшно. Няня Груша сидела в своём кресле у окна и вязала что-то бесконечное, какой-то шарф или свитер, который никогда не заканчивался.

Дядя Коля сидел на табурете в углу и молчал. Он действительно был странный. Бледный. Под глазами тени, каких я раньше не видел. Руки его дрожали, когда он подносил кружку ко рту.

— Как на заводе? — спросил я просто чтобы что-то сказать.

Он поднял на меня глаза, и я увидел в них что-то, от чего захотелось замолчать. Страх? Предостережение? Не знаю.

— Нормально, — сказал он хрипло. — Всё нормально.

И отвёл взгляд.

Ночью меня разбудил звук. Кто-то ходил по коридору. Шаги — медленные, тяжёлые, неравномерные. Шарк-шарк. Шарк-шарк. Как будто человек хромает. Или как будто человек идёт, а за ним тянется что-то ещё.

Я лежал и слушал. Шаги приближались к моей двери. Я смотрел в щель под дверь — там был свет из коридора. Тусклый, жёлтый. И тень.

Тень качалась.

Я закрыл глаза. Я не хотел видеть, как тень остановится. Как ручка двери начнёт поворачиваться.

Шаги прошли мимо.

Утром я узнал, что дядя Коля ночью ушёл. Просто оделся и вышел. И больше не вернулся.

Мама сказала, что, наверное, он уехал в город. У него там дела. Может быть, он даже переехал — у него была знакомая, женщина, кажется, из другого района. Он говорил о ней пару раз, шёпотом, чтобы не слышали стены.

Мы делали вид, что верим в это.

А через три дня к нам пришли из пятой квартиры — семьи Шелестовых — и сказали, что видели дядю Колю. Он стоял на лестничной клетке между этажами. Просто стоял и смотрел в стену. И лицо у него было такое, сказали Шелестовы, словно он уже не здесь.

Я хотел пойти туда, но в коридоре опять стало темно. Я постоял у двери, глядя в пол, чувствуя, как холод подступает к пальцам ног. А потом развернулся и ушёл в свою комнату.

— Я сегодня не в настроении выходить, — сказал я вслух.

И меня никто не осудил.

Так мы живём. Так жили, так живём и так будет всегда.

Я помню светлые времена. Или мне кажется, что помню. Может быть, это додуманные воспоминания — фантазия о первородном рае, утопии, которой никогда не было. Может быть, в детстве оно ещё не было таким сильным. Может быть, тогда можно было что-то сделать, пока оно не окрепло.

Но все, кто мог что-то сделать, — они либо уехали, либо исчезли, либо стали частью этого дома. Как мебель. Как обои в цветочек.

Иногда я думаю: что, если мы сами его создали? Что, если оно — часть нас, выплеснутая наружу, как гной из раны? Наш страх, наши подавленные желания, наши обиды, наша злость — всё это сгустилось и обрело форму, которую нельзя назвать и на которую нельзя смотреть.

Но это только мысли. Мысли, которые я гоню от себя, потому что они опасны. Мысли, которые могут разозлить его.

А злить его нельзя.

На следующей неделе у бабушки Веры день рождения. Мы будем накрывать на стол. Мы будем улыбаться. Мы будем загадывать желания.

И оно сядет с нами за стол. Как садится каждый раз. В углу, где темнее всего. Никто не посмотрит в ту сторону. Никто не назовёт его по имени. Мы будем делать вид, что его нет.

И оно будет довольным.

А пока — я сижу в своей комнате и пишу это. Не знаю зачем. Может быть, чтобы не сойти с ума. Может быть, чтобы оставить след. Может быть, чтобы однажды кто-то прочитал и понял.

Но когда я дописываю эту строку, свет в комнате мигает. И я чувствую — оно стоит за спиной. И я не оборачиваюсь.

Я не оборачиваюсь.

Я не оборачиваюсь.

Я...

2

Утро после исчезновения дяди Коли выдалось тихим — тише обычного. Я проснулся поздно, с тяжёлой головой, и некоторое время просто лежал, глядя в потолок. На потолке трещина, похожая на русло пересохшей реки. Я знаю её наизусть, изучил за годы бессонницы. Сегодня она казалась чуть длиннее, чем вчера. Или мне просто хотелось, чтобы что-то менялось.

В углах комнаты было пусто. Я осторожно повернул голову — никого. Воздух лёгкий, прозрачный. Можно вставать.

На кухне мама сидела на том же месте, что и всегда. Перед ней стояли две кружки. Одна — её. Вторая — для дяди Коли. Нетронутая. Чай остыл, и на поверхности образовалась тонкая плёнка.

— Он не придёт, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

Мама не ответила. Она смотрела в окно, где моросил всё тот же бесконечный дождь — хотя на самом деле за окном было сухо и даже проглядывало солнце. Я подошёл, взял кружку дяди Коли и вылил холодный чай в раковину. Мама не шелохнулась.

— Он просто уехал, — сказал я громче, словно убеждая не её, а кого-то третьего. — В город. К той женщине.

— Конечно, — сказала мама. — Конечно.

И добавила совсем тихо, почти про себя:

— Лишь бы не возвращался.

Я понял, что она имеет в виду. Все мы слышали истории. Про тех, кто уехал, а потом — спустя месяц, год — решал навестить родных. Просто зайти на минуту. Забрать забытую вещь. Попрощаться с умирающей матерью. И про то, как их находили на пороге — с открытыми глазами и остановившимся сердцем. «Сердце прихватило», — говорили потом соседи, и никто не уточнял, что сердце тут ни при чём.

Дядя Коля знал это. Он знал правила. Если уехал — не возвращайся. Никогда.

Я налил себе свежего чая. Руки дрожали.

День рождения бабушки Веры приближался. Ей должно было исполниться семьдесят восемь — или семьдесят девять? Никто точно не помнил, да и сама бабушка Вера путалась в цифрах. Но дату праздновали всегда. Это был один из немногих дней в году, когда мы позволяли себе почти радость.

Подготовка шла всю неделю. Тётка Рита пекла пироги с капустой и яйцом — бабушкины любимые. Мама достала из серванта праздничный сервиз, тот самый, с синими цветочками, который доставали только по большим дням. Няня Груша вязала, не поднимая глаз, но в её движениях появилась какая-то особая сосредоточенность. Мне казалось, она что-то шепчет, перебирая спицами, — но когда я подходил ближе, она замолкала.

Бабушка Вера в преддверии праздника оживилась. Она чаще выходила из своей комнаты, даже пыталась помогать на кухне, хотя руки её дрожали и она больше мешала, чем помогала. Однажды вечером она взяла меня за локоть и отвела в сторону.

— Сашенька, — прошептала она, и глаза её, обычно тусклые, вдруг блеснули чем-то острым, почти осмысленным. — Ты помнишь... раньше... разве так было?

Я замер. Она говорила о том, о чём нельзя. Прямо здесь, в коридоре, где стены слушают.

— Не знаю, о чём ты, бабушка, — сказал я, аккуратно высвобождая локоть. — Всё всегда так было.

Она долго смотрела на меня, и блеск в её глазах погас.

— Да, — сказала она наконец. — Наверное. Всё всегда так.

И ушла в свою комнату. Половицы скрипнули вслед за ней, хотя она на них не наступала.

В день праздника мы собрались в большой комнате. Стол накрыли белой скатертью, расставили пироги, салаты, холодные закуски. Посередине — бутылка сладкого вина, подарок Шелестовых из пятой квартиры. Сами Шелестовы пришли тоже — муж, жена и их сын Димка, парень лет двадцати, молчаливый и какой-то дёрганный.

Кроме них, пришёл ещё один сосед — дядя Миша из второго подъезда. Про него говорили шёпотом. В прошлом году он вдруг начал переставлять мебель в квартире, спать в ванной и стирать бельё на балконе, даже зимой. Жена его уехала, забрала детей, а он остался. И подчинился. Все знали, кому он подчиняется, но не называли.

Дядя Миша сидел на краешке стула неестественно прямо, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Иногда он вдруг вставал, делал два шага в сторону, потом садился обратно. Никто не спрашивал его о причинах.

Всего за столом нас было одиннадцать. И ещё одно место — в углу, где темнело больше всего, где старая этажерка отбрасывала глубокую тень. Там никто не сидел. Но стул там стоял. И на стуле стояла тарелка с пирогом.

— Ну что, за бабушку Веру! — сказал я, поднимая рюмку.

— За бабушку Веру! — подхватили все, и голоса прозвучали громче обычного, словно мы пытались заглушить тишину, что стояла в углу.

Бабушка Вера улыбалась. Она сидела во главе стола, нарядная, в сиреневой кофте, с брошкой на груди. Но улыбка её была напряжённой. Я видел, как она то и дело косится в угол, и быстро отводит взгляд.

Праздник шёл своим чередом. Мы ели пироги, говорили о погоде, о видах на урожай (хотя огорода у нас не было), о том, как хорошо сидеть вместе. Димка Шелестов рассказывал что-то о книге, которую читал, но на полуслове замолкал и начинал тереть скатерть. Его мать, тётя Надя, наливала себе вина чаще, чем можно. Отец, дядя Паша, смотрел в тарелку и методично крошил хлеб.

— А давайте загадаем желания! — вдруг предложила тётка Рита. Она была немного пьяна, щёки её покраснелись, и на мгновение она стала похожа на обычную женщину, которая живёт обычной жизнью. — Как в детстве! Пусть каждый загадает. Именинница — в первую очередь.

Бабушка Вера кивнула, прикрыла глаза. Мы все замолчали. Тишина стала плотной, как вода. Я смотрел в свою тарелку, но краем сознания чувствовал — оно там, в углу. Воздух похолодел. Запах пирогов смешался с чем-то другим, затхлым, как из подвала.

Я загадал желание. Не помню какое. Кажется, чтобы всё кончилось. Или чтобы проснуться.

Бабушка Вера открыла глаза. Она улыбалась, но губы дрожали.

— Я загадала... — начала она и вдруг замерла. Взгляд её упёрся в угол.

Мы все замерли вместе с ней. Никто не оборачивался. Никто не смотрел. Но я слышал, как скрипнул стул в углу. Как кто-то взял тарелку с пирогом. Как что-то влажно чавкнуло.

Тётя Надя всхлипнула и зажала рот рукой. Дядя Миша вдруг встал, сделал шаг в сторону и замер с поднятой ногой, как цапля.

— Всё хорошо, — сказал я громко. — Всё хорошо. Пирог вкусный. Рита, передай салат.

Тётка Рита механически передала салат. Её рука дрожала, и из ложки вывалился горошек. Мы продолжали есть. Мы продолжали улыбаться. Праздник продолжался.

Ночью бабушка Вера умерла.

Я проснулся от крика. Кричала мама — долго, на одной ноте, как сирена. Я вскочил, бросился в комнату бабушки, но в дверях замер. На пороге стояла няня Груша. Маленькая, сухая, в ночной рубашке до пят, она загораживала проход и смотрела на меня без всякого выражения.

— Не ходи, — сказала она. — Уже нечего.

— Что случилось? — я попытался заглянуть через её плечо, но она не пускала.

— Сердце, — сказала няня Груша. — Сердце прихватило. Старая она была.

Я знал, что это неправда. Бабушка Вера была старая, да. Но сердце у неё было крепкое. Я видел её вечером — она сидела за столом, ела пирог, улыбалась, и щёки её были розовыми. А потом она загадала желание. И посмотрела в угол.

Няня Груша смотрела на меня, и в её глазах читалось то, чего она никогда не говорила вслух. *Не спрашивай. Не лезь. Не думай.*

Я отступил.

Утром приехала скорая, констатировала смерть. Врач — пожилой мужчина с усталым лицом — заполнял бумаги на кухне. Я стоял у окна и смотрел, как санитары выносят тело. Носилки качнулись на лестнице, и мне показалось, что бабушка Вера шевельнулась. Но это просто тряска.

— У вас тут... странно, — сказал врач, не поднимая головы от бумаг. — Я бывал в этом доме раньше. Много раз.

Я молчал.

— Я не суеверный, — продолжал он. — Но если бы вы могли... вы бы уехали отсюда?

— Куда? — спросил я.

Врач поднял глаза, и я увидел в них что-то похожее на жалость.

— Куда угодно, — сказал он. И замолчал, потому что в коридоре вдруг стало темно.

Я не стал его провожать. Я слышал, как он быстро сбежал по лестнице, как хлопнула входная дверь. А потом тишина снова сомкнулась над домом, как вода над утопленником.

Прошло три дня после похорон. Мы снова сидели на кухне — я, мама, тётка Рита. Няня Груша вязала в своём кресле. Дяди Коли не было, бабушки Веры не было. Квартира стала просторнее.

— Надо бы вещи разобрать, — сказала мама безжизненным голосом. — Бабушкины.

— Да, — сказал я. — Потом.

Я знал, что мы не будем разбирать. Мы запрём комнату и постараемся забыть, что она вообще существовала. Так мы делали всегда. Дедова комната до сих пор стояла запертой. Комната, в которую я не зашёл попрощаться.

Тётка Рита вдруг хихикнула. Это был нехороший смех — высокий, ломкий.

— А помните, как она загадала желание? — спросила Рита. — И посмотрела... туда.

— Прекрати, — сказала мама.

— Она посмотрела! — Рита повысила голос. — Она нарушила правило! Она посмотрела, и оно...

— Я сказала — прекрати!

Мама ударила ладонью по столу. Чашки зазвенели. В коридоре что-то грохнуло. Мы замолчали.

Тишина стояла долгая, звенящая. А потом из коридора раздались шаги. Медленные. Тяжёлые. Шарк-шарк.

Я смотрел в пол и не шевелился. Мама закрыла лицо руками. Рита беззвучно плакала. Шаги прошли мимо кухни, удалились в сторону бабушкиной комнаты, и там затихли.

Потом скрипнула дверь.

Мы не пошли проверять. Мы сидели на кухне до самого утра, пока за окном не начало сереть, и только тогда, не сговариваясь, разошлись по своим комнатам. Дверь в бабушкину комнату была приоткрыта. Я не стал в неё заглядывать. Я лёг в постель и закрыл глаза, но сон не шёл.

Где-то в глубине квартиры няня Груша всё вязала свой бесконечный шарф, и спицы её постукивали в такт шагам, которых уже не было слышно.

На следующий день я вышел из дома. Просто оделся, открыл входную дверь и шагнул на лестничную клетку. Никто меня не остановил. В коридоре было пусто, воздух — прохладный и обычный, лестничный.

Я спустился на первый этаж, вышел во двор. Три старые липы, скамейка, серое небо. Птиц не было. В соседних домах, далёких, за пределами нашего квартала, горели окна.

Я сел на скамейку и впервые за долгое время посмотрел на наш дом со стороны. Шесть этажей, шесть подъездов, облупившаяся штукатурка, тёмные окна. Окна нашей квартиры на четвёртом этаже. В одном из них что-то мелькнуло. Тень. Силуэт. Я быстро отвёл глаза.

Скамейка заскрипела — рядом кто-то сел. Я вздрогнул и обернулся. Это был Димка Шелестов.

— Не смотри туда, — сказал он, не глядя на меня. — Оно видит, когда на него смотрят.

— Я знаю, — сказал я.

Димка помолчал. Он крутил в руках сорванный лист — хотя листья ещё не падали. Лист был жухлый, бурый.

— Я пробовал уехать, — сказал он. — Полгода назад. Собрал вещи, сел в автобус. Доехал до вокзала. А дальше не смог.

— Почему?

Димка посмотрел на меня, и я увидел в его глазах ту же самую жалость, что и у врача.

— Оно там было, — прошептал он. — На вокзале. В толпе. Стояло и ждало. Я его не видел, но знаю — оно там было. Я вернулся.

Он смял лист в кулаке.

— Оно везде, — сказал он. — Мы думаем, что оно только в доме. Но это не так. Оно просто любит дом. А может ходить везде.

Я хотел спросить его о чём-то ещё, но Димка вдруг встал и быстро пошёл к подъезду, не оборачиваясь. Я остался на скамейке один.

Везде, значит. Везде.

Я поднял голову к небу. Серое, низкое. Вроде бы обычное. Но в самом центре — если приглядеться — сгушалось что-то тёмное, похожее на дым. Или на тучу. Или на то, что приворяется тучей.

Я отвёл взгляд. Встал. Пошёл обратно в дом. Дверь подъезда была открыта, словно меня ждали.

И прежде чем переступить порог, я на секунду замер — и вспомнил лицо бабушки Веры, когда она загадывала желание. Что она хотела? Чтобы всё кончилось? Чтобы оно ушло? Или чтобы умереть, не дожидаясь следующего раза?

Я не знал. И, наверное, никогда не узнаю.

Дверь за мной закрылась сама собой.

3

После разговора с Димкой на скамейке я ещё долго не мог заснуть. Его слова крутились в голове, как заезженная пластинка. «Оно там было. На вокзале. В толпе. Стояло и ждало».

Значит, бежать некуда. Значит, весь город — одна большая квартира, из которой нельзя съехать.

Я ворочался в постели, смотрел в трещину на потолке, и мне казалось, что она стала ещё длиннее. Может быть, завтра она доберётся до угла, а потом — до стены, а потом расколет всю комнату пополам. И я увижу то, что за стенами. То, что мы все так старательно не замечаем.

С этими мыслями я наконец провалился в сон.

Сны были единственным местом, где я мог дышать. Во снах не было дома. Не было коридоров с тёмными углами. Не было шагов за спиной. Во снах я ходил по городу, которого никогда не видел, разговаривал с людьми, у которых не было серых лиц, смеялся, ел мороженое, целовал женщину, чьё лицо исчезало при пробуждении. Во снах я жил.

Иногда я пытался продлить сон, засыпая снова и снова, на весь день, на сутки. Мама ругалась — но не сильно. Она понимала. Она и сама иногда спала по шестнадцать часов, а просыпаясь, глядела в потолок с такой тоской, словно её выдернули из рая.

Но в этот раз сон прервался резко. Кто-то тряс меня за плечо.

— Саша! Саша, проснись!

Я открыл глаза. Надо мной стояла тётка Рита. Лицо белое, губы дрожат, волосы растрёпаны. Она никогда не заходила в мою комнату. Никогда.

— Что случилось? — я сел на кровати.

— Там... в коридоре... — она задыхалась. — Оно... оно передвинуло дверь.

Я потёр глаза. Смысл её слов доходил медленно.

— Как — передвинуло?

— Дверь в ванную! Она теперь в кухне!

Я встал, накинул халат и вышел в коридор. Рита семенила следом, хватая меня за локоть. На кухне уже стояли мама и няня Груша. Мама — прижавшись к стене, с расширенными зрачками. Няня Груша — спокойная, как всегда, только спицы в её руках замерли.

Я посмотрел туда, куда они все смотрели. В кухонной стене, там, где раньше висел старый шкафчик с крупой, теперь зиял дверной проём. Дверь была знакомая — белая, облупившаяся, с латунной ручкой в виде раковины. Дверь в нашу ванную. Но она не могла здесь быть. Ванная всегда была в конце коридора.

— Мы проверили, — сказала мама шёпотом. — Там, где она была раньше — глухая стена. Просто стена.

Я подошёл к двери. Холодом от неё не тянуло, но воздух вокруг казался плотнее, тяжелее. Я протянул руку к ручке — и отдёргнул. Показалось, что ручка шевельнулась мне навстречу.

— Не надо, — сказала няня Груша. — Оно играет. Не подыгрывай.

Я опустил руку. Мы постояли ещё минуту в молчании, глядя на дверь, которой здесь быть не должно. А потом разошлись. Мама ушла в свою комнату. Рита убежала наверх, к себе. Няня Груша села в кресло и снова застучала спицами.

Я остался на кухне один — если не считать двери.

Чайник вскипел. Я заварил чай. Сел за стол спиной к двери. Пил чай и смотрел в окно, где занимался серый рассвет. За спиной было тихо. Но я знал — если обернусь, дверь будет приоткрыта. Хотя я не слышал, чтобы она открывалась.

К полудню пришёл дядя Миша. Постучал в дверь — три удара, пауза, ещё два. Условный стук, принятый в доме: так мы узнавали своих. Я открыл. Дядя Миша стоял на пороге, вытянувшись в струнку, и смотрел куда-то поверх моего плеча.

— Можно? — спросил он.

— Заходи.

Он шагнул через порог и сразу же замер. Принюхался. Повернул голову в сторону кухни.

— У вас тоже, — сказал он не то спрашивая, не то утверждая.

— Что — тоже?

— Перестановка. У меня на прошлой неделе балкон стал спальней. Теперь я сплю на балконе. А в спальне — ванна. Но ванна без воды. Просто стоит.

Я молча смотрел на него. Дядя Миша говорил об этом так буднично, словно речь шла о перестановке мебели по фэн-шую.

— Это удобно? — спросил я глупо.

— Нет, — серьёзно ответил он. — Комары. Но я привык. Оно сказала — надо.

— Оно тебе сказала? — я понизил голос.

Дядя Миша посмотрел на меня долгим взглядом, и я понял, что он уже не здесь. Не весь. Часть его осталась на том балконе, с комарами, в холоде, подчиняясь приказам, которые никто не отдавал вслух.

— Оно не говорит, — прошептал дядя Миша. — Оно показывает. Картинками. Как во сне. Ты просто знаешь, что надо сделать. И делаешь. И если не сделать... — он осёкся.

— Что тогда?

— Ты сам знаешь.

Я знал. Если не сделать — сердце прихватило. Или исчезнешь в коридоре. Или просто перестанешь быть.

Дядя Миша вдруг встрепенулся, словно его кто-то позвал. Развернулся, вышел в коридор и направился к лестнице. Я смотрел ему вслед. Он поднимался по ступенькам странно: сначала правой ногой, потом левой, потом опять правой, а левую подтягивал с задержкой. Как будто кто-то диктовал ему ритм.

Дверь за ним захлопнулась.

Вечером я нашёл в почтовом ящике письмо. Настоящее бумажное письмо, в конверте, с маркой. Это было настолько необычно, что я сначала подумал — ошибка. Но адрес был наш: «Александру. Квартира 34».

Я вскрыл конверт на кухне, под лампой. Мама сидела напротив и делала вид, что читает журнал трёхлетней давности, но я чувствовал её взгляд.

Письмо было от двоюродной сестры Лены. Она уехала из дома четыре года назад. Просто собрала вещи и ушла — хлопнула дверью, ни с кем не попрощавшись. Мы думали, она погибла. Или сошла с ума. Или и то, и другое. Но она просто уехала в другой город. Далеко.

«Саша, привет, — писала она неровным почерком на тетрадном листе. — Я знаю, что нельзя писать. Знаю, что нельзя напоминать о себе. Но я должна предупредить. Не уезжайте. Не пытайтесь. Я уехала, и сначала было хорошо. Целый год. Я жила в маленькой квартире на окраине, работала в библиотеке, завела кота. Кот умер через месяц. Просто лёг и не проснулся. Я завела другого — тот убежал. Я сменяла три квартиры. Везде одно и то же. На четвёртый год я поняла — оно здесь. Не такое сильное, как дома. Но оно есть. Оно приходит по ночам и стоит в углу. Оно двигает вещи. Оно смотрит. Я думала, что сбежала, но я просто унесла его с собой. Оно внутри меня. Оно внутри всех, кто жил в этом доме. Не уезжайте. Там, в доме, оно хотя бы предсказуемое. Вы знаете правила. Здесь правил нет. Я не знаю, что его разозлит, а что — нет. Я не знаю, когда оно придёт. Я схожу с ума, Саша. Я хочу вернуться. Но я знаю, что будет, если я вернусь. Поэтому я не вернусь. Просто знайте — оно везде. Везде».

Я перечитал письмо трижды. Мама смотрела на меня уже открыто.

— От кого?

— От Лены, — сказал я и протянул ей письмо.

Мама прочитала. Лицо её не изменилось. Она аккуратно сложила листок и положила на стол.

— Надо сжечь, — сказала она.

— Почему?

— Потому что такие вещи нельзя хранить. Оно найдёт. Оно всегда находит.

Я взял письмо. Подумал. И положил в карман.

— Я пока оставлю, — сказал я.

Мама долго смотрела на меня. В её глазах мелькнуло что-то — то ли страх, то ли предостережение, то ли уважение. Она ничего не сказала, встала и ушла в свою комнату.

Я остался один на кухне. За окном сгущались сумерки. Дверь в ванную, торчащая из стены, была закрыта. Но мне казалось, что она чуть-чуть дрожит. Как будто кто-то стоит с той стороны и ждёт, когда я оглянусь.

Я не оглядывался. Я думал о Ленке. О том, что она уехала, надеясь на свободу, а получила ту же клетку, только без стен. О том, что оно — внутри нас. Внутри каждого.

Если оно внутри — можно ли от него избавиться? Можно ли вырезать его, как опухоль? Или оно — часть меня, как печень, как лёгкие, как память?

Я встал, подошёл к окну. Во дворе, на скамейке, кто-то сидел. Тёмный силуэт. Неподвижный. Я быстро отвёл взгляд и задёрнул шторы.

Ночью мне снился город, которого я никогда не видел, но теперь он был пуст. Я ходил по улицам один, заглядывал в окна, и везде — в каждой квартире, в каждом доме — стояли двери, которых там не должно было быть. Двери в ванную, ведущие в никуда.

Неделя прошла в затишье. Дверь в ванную так и осталась в кухонной стене. Мы привыкли к ней — насколько можно привыкнуть к такой вещи. Просто перестали замечать, как перестают замечать родимое пятно на лице или хромоту. Я умывался на кухне над раковиной. В туалет ходил к соседям — Шелестовы разрешали, хоть и с опаской.

Затишье было хуже бури. В затишье я не знал, чего ждать. Когда оно двигает вещи — страшно. Когда оно молчит — ещё страшнее. Потому что тишина в нашем доме никогда не была пустой. Она была полна присутствия.

В пятницу я решился. Сам не знаю, почему именно в пятницу. Может быть, письмо Лены что-то во мне сдвинуло. Может быть, я устал. Может быть, захотел проверить — действительно ли оно везде?

Я оделся и вышел из дома с твёрдым намерением уехать в город. Не навсегда — просто на день. Просто пройтись по улицам, посидеть в кафе, сделать вид, что я обычный человек. Что я не ношу в себе чёрную тучу.

На лестнице никого не было. Во дворе — тоже. Я прошёл мимо скамейки, мимо лип, мимо покосившейся детской площадки, где никто никогда не играл. Вышел за ворота. Улица была пуста — но это обычное дело для нашего квартала. Здесь вообще было малоллюдно.

Я шёл к автобусной остановке, и с каждым шагом дышать становилось легче. Воздух был холодным, но свежим. Небо — серым, но обычным, без чёрных сгустков. Я почти улыбнулся.

На остановке стояла женщина с сумкой и мальчик лет семи. Обычные люди. Они не смотрели на меня с подозрением, не шарахались. Я подошёл, встал в очередь — хотя очереди не было, — и принялся ждать автобус.

Автобус пришёл через десять минут. Я сел у окна, прижался лбом к стеклу. Город проплывал мимо: дома, деревья, люди, машины. Всё обычное. Всё нормальное. Я чувствовал себя почти счастливым.

А потом я увидел его.

На остановке, которую автобус проезжал, не останавливаясь. В толпе людей, ждущих транспорт. Чёрная фигура. Не человек — силуэт человека. Стоял неподвижно, пока все вокруг двигались. Стоял и смотрел на меня.

Я зажмурился. Досчитал до десяти. Открыл глаза. Автобус ехал дальше, за окном мелькали дома. Остановка осталась позади.

Но я знал — оно там было. Как говорил Димка. Как писала Лена. Оно везде.

Я доехал до центра. Вышел. Походил по магазинам, купил книгу (какую-то, не глядя), выпил кофе в маленькой забегаловке. Кофе был горьким, но настоящим. Я почти убедил себя, что мне показалось.

А потом я увидел его снова. В отражении витрины. Оно стояло за моей спиной.

Я не обернулся. Я допил кофе, расплатился и пошёл к остановке. Шёл, глядя прямо перед собой, не ускоряя шаг. Потому что бежать нельзя. Бегство — это страх. А страх — то, чем оно питается. Я уже догадывался об этом.

Дома я закрыл дверь на все замки и долго стоял в коридоре, прижавшись к стене. Сердце колотилось где-то в горле. В кухне свет не горел, но дверь в ванную была приоткрыта. Из щели тянуло холодом.

Я закрыл её. Она была тяжёлой, словно кто-то держал её с той стороны.

Когда я наконец лёг в постель, в комнате было темно. Я закрыл глаза и попытался вызвать сон — мой единственный безопасный мир. Но сон не шёл. Вместо него перед внутренним взором стоял чёрный силуэт. На остановке. За моей спиной. Везде.

И тогда — впервые — я подумал: а что, если с ним можно бороться? Что, если страх — не единственный ответ? Что, если можно перестать бояться, и тогда оно потеряет силу?

Мысль была крамольной. Опасной. За такие мысли оно могло меня убить.

Но я всё равно думал её. Думал — и не мог остановиться.

Где-то в коридоре скрипнула половица. А может быть, мне показалось.

Я лежал и смотрел в трещину на потолке. Она стала ещё длиннее. Теперь она напоминала не реку, а ветвистое дерево. Или рога.

На следующий день я отправился к няне Груше.

Она была старейшей в доме. Никто не знал, сколько ей лет. Говорили, что она жила здесь ещё до того, как дом был построен — что, конечно, было невозможно, но в такие вещи в нашем доме верилось легко. Она помнила всё — но молчала. Молчала всегда.

Я застал её в кресле у окна. Спицы в морщинистых руках двигались в одном ритме — щёлк-щёлк, щёлк-щёлк. Она вязала всё тот же бесконечный шарф, который тянулся через всю комнату и исчезал под дверью.

— Няня Груша, — сказал я, присаживаясь рядом на табурет. — Можно спросить?

Она не подняла глаз, но спицы чуть замедлились.

— Спрашивай, — проскрипела она.

— Ты помнишь, как оно появилось? В первый раз?

Спицы замерли. Я пожалел о вопросе. Тишина стала такой густой, что казалось — её можно потрогать.

— Не было первого раза, — сказала наконец няня Груша. — Оно было всегда.

— Но ведь дом построили в пятьдесят восьмом. До этого...

— Дом построили в пятьдесят восьмом, — перебила она. — А место это было всегда. И то, что на этом месте, — тоже было всегда. Оно старше дома. Старше улицы. Старше города.

Я молчал. Няня Груша снова застучала спицами.

— Раньше оно было тише, — продолжала она, словно разговаривая сама с собой. — Спало больше. Мы его не тревожили. А потом начали тревожить. Спрашивать. Смотреть. Обсуждать. Оно проснулось.

— Значит, мы сами виноваты?

Она подняла на меня глаза, и я увидел в них что-то древнее, как болото.

— Никто не виноват, Саша. Виноватых нет. Есть только оно и мы. И правила. Правила спасают.

— Правила не спасают, — сказал я тихо. — Бабушку Веру не спасли. Дядю Колю не спасли. Ленка уехала, а оно поехало за ней.

Няня Груша долго смотрела на меня, не мигая. Потом наклонилась и взяла мою руку. Пальцы у неё были сухие и тёплые.

— Ты хочешь бороться? — спросила она тихо-тихо.

Я кивнул.

— Тогда умрёшь.

— Все умирают, — сказал я. — Здесь — особенно быстро. Может быть, лучше умереть, пытаясь что-то изменить, чем сидеть и ждать, пока оно передвинет твою дверь? Или пока ты станешь как дядя Миша и будешь спать на балконе, потому что оно так показало?

Няня Груша отпустила мою руку. Вздохнула. И вдруг улыбнулась — впервые на моей памяти. Улыбка у неё была беззубая, но не страшная, а почти ласковая.

— Ты не первый, — сказала она. — Кто так думает.

— А где те, кто думал так до меня?

— Ты знаешь.

Я знал. В тёмном коридоре. На пороге дома с остановившимся сердцем. В списке отмеченных.

— Но один, — добавила няня Груша, понизив голос до шелеста, — один ушёл далеко. Не умер. Не сошёл с ума. Ушёл. И может быть, узнал что-то.

— Кто? — я наклонился ближе.

— Не здесь. На шестом этаже. В пустой квартире. Спроси у тех, кто помнит.

Спицы снова застучали. Разговор был окончен.

Я встал и пошёл к двери. На пороге обернулся. Няня Груша сидела в кресле, маленькая и сухая, как прошлогодний лист. Шарф, который она вязала, уходил под дверь и тянулся куда-то в коридор.

— Няня Груша, — спросил я. — А что ты вяжешь?

Она улыбнулась снова, но на этот раз в улыбке было что-то жуткое.

— Время, — сказала она. — Вяжу время. Оно рвётся постоянно. А я чиню.

Я вышел в коридор. Шарф тянулся по полу и исчезал за поворотом. Я пошёл вдоль него, но он всё не кончался. Он тянулся вниз по лестнице, в подвал, и там терялся в темноте, куда я не решился заглянуть.

На шестой этаж я поднялся в тот же день. Дверь в пустую квартиру была заперта. Но под дверь лежала записка, пожелтевшая от времени. Я наклонился и прочитал:

«Не ищи меня здесь. Я в городе. Спроси у часовщика на Старой улице. Если ты это читаешь — ты уже не такой, как все. Бойся. Но ищи».

Я сунул записку в карман и быстро спустился к себе. Сердце колотилось. Впервые за долгое время я чувствовал не только страх, но и что-то ещё. Азарт? Надежду? Злость?

Я не знал. Но я знал, что завтра пойду в город. На Старую улицу. К часовщику.

А сегодня — спать. В сны, где нет ни дома, ни дверей, ни чёрных силуэтов. В сны, где я свободен.

Я лёг в постель, закрыл глаза и приказал себе уснуть. И прежде чем провалиться в темноту, я успел подумать: может быть, сны — это и есть настоящая жизнь? А то, что здесь, — просто долгий кошмар, от которого однажды можно очнуться?

Где-то в коридоре скрипнула дверь. Но я уже спал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.